

Распадающаяся Вавилонская башня.

"Бьется сила разрушения с силой созиданья"

Ветвящиеся кризисы

Когда мы имеем дело с крупным мыслителем, то он всегда в чем-то прав; нельзя выкинуть из истории Ницше, нельзя выкинуть Маркса. Чувство Бога действительно умирало в западной цивилизации, и гипербола Ницше – Бог умер! – осталась как знак начавшейся катастрофы. Бубер точнее назвал ее затмением Бога. Но в гиперболе, в "неразвитой напряженности" (как сказал бы Гегель), в "страстной односторонности" (на моем языке) есть энергия открытия, и формулы, в которых эта энергия отпечаталась, культура не забывает. Они в чем-то ценны для понимания того, что произошло. Наверное, потому, что великое никогда не рождается вяло, в полутьме, без яркой вспышки, которая и освещает, и ослепляет.

Такой вспышкой была интуиция Маркса, что капиталистическая цивилизация выходит из кризиса средствами, которые создают новый кризис, опаснее прежнего. Маркс втиснул эту интуицию в экономический контекст, сузив свою мысль, сделав ее уязвимой. Научно-техническая революция вывела капитализм из замкнутого пространства экономических циклов. Но разрушительное движение продолжалось. Призрак экономического краха уступил место угрозе экологического краха – и целому ряду других угроз. Ибо кризисы стали ветвиться, и современная цивилизация кружится в клубке кризисов.

Не то при Хрущеве, не то при Сталине мы смеялись над анекдотическим вопросом: что с нами будет, если мы догоним Америку, которая катится в пропасть? И вдруг оказалось, что американский уровень производства и потребления, распространившись на 6 200 000 000 жителей земли, действительно немислим, экологически невозможен. А между тем население растет все быстрее: за время моей жизни – в три раза, а с начала XX века – в четыре раза. Конфликты в тесной коммунальной квартире неизбежны, а средства производства (пригодные и как средства разрушения) достигли такой мощи, что человечество впервые за всю свою историю способно эту историю прекратить.

Можно ли обособиться от рокового процесса? Можно ли укрыться от истории? В прошлом такие примеры были. Византия, а за ней Тибет создали культуры, духовно замкнувшиеся от мира. Особенно удачно это получилось в Тибете. Он внешне был защищен горами и социальную структуру создал, способную оставаться неизменной сколько угодно лет¹. Но соседи развивались, горы перестали быть непреодолимым препятствием, и Тибет стал легкой добычей для Китая. Византия продержалась тысячу лет (теряя одну провинцию за другой), но и она рухнула. Обособившиеся культуры не умеют учиться у соседей, не умеют извлекать опыт из своих поражений, и соседи их сминают. На сегодняшний день обособление имеет только относительный смысл, давая местной культуре время переварить проглоченное и перевести глобальные термины на свой язык. От участия в глобальных процессах невозможно отделаться. В той или иной форме оно неизбежно. И приходится всем искать выход из общего кризиса.

Маховик развития нельзя остановить, нельзя резко затормозить; но если торможение вовсе не удастся, затрещит природный сук, на котором мы все сидим, затрещит биосфера, и человечество рухнет. Никто не усидит в воздухе, не останется никакой "почвы", за которую уцепиться. Что же делать? Прежде всего, понять, что торможение в принципе возможно, периоды торможения уже случались. Были эпохи стремительного внешнего раскручивания, эпохи экспансии (торговой и имперской) "вширь", "вперед" – и переходы от центробежного развития к центростремительному, к поискам духовного единства. Пространственные образы здесь условны. Одно и то же может обозначать термин "центр" – в противоположность периферии

или "вертикаль" (обозначенная словами "вглубь" или "вверх") – в противоположность горизонтали. Бахтин, например, писал, что в "Божественной комедии" Данте одинаково напряженно чувствуется вертикаль (как в средние века) и горизонталь (как до и после средних веков). Суть дела в переоценке ценностей и целей. Данте поместил Одиссея в ад. Новое время реабилитировало Одиссея.

Примерно две тысячи лет тому назад героические подвиги уступили первое место подвигам созерцания, в котором раскрывалось заново Священное, и на этой духовной основе (общей для целого круга культур, для культурного мира) была создана единая для всех иерархия, такая же строгая, как в "мировом дереве" шаманов². Система ценностей вновь встала на свое место.

Если взглянуть на историю с птичьего полета, то это движение от простых разрозненных групп к единой и очень сложной глобальной цивилизации. При каждом шаге вперед что-то терялось. Терялось чувство психической и космической цельности, терялась устойчивость общества. Прimitивные культуры живут без кризисов тысячи лет, сложные чаще всего рушились (на этом факте основаны циклические теории исторического процесса). Но рушились не все культуры. Не рухнули культуры, сумевшие найти новую духовную устойчивость и новый социальный порядок, опирающийся на этику Святого писания. Распространение языка и шрифта Святого писания создали границы культурного мира. Этот порядок продержался до Нового времени.

Такова схема. Однако стабильность Византии оказалась хрупкой и была разрушена исламом. Ислам (если не говорить о суфизме) снова перенес акцент на движение вширь. Борьба с натиском ислама подтолкнула европейцев в океаны и стала одним из импульсов к рождению новой экспансионистской культуры западной культуры Нового времени. Этот культурный мир не имел имперской организации. Развитие науки, техники, торговых инициатив переходило в нем из страны в страну и в конце концов стало основой политической силы. Из этого ящика Пандоры вышли многие успехи во многих частных направлениях – и нарастающие кризисы, грозившие неведомыми катастрофами. Мы просто не знаем, что выйдет из тумана XXI, XXII веков (если до XXII мы дотянем).

Простая культура вся вмещалась в голову, она была чем-то целым, без разрыва на техническую информацию, духовные ценности и т.п. В ней не было спора между религией и философией. Прimitивный человек нравственно целен и учит детей своим примером. Этот пример не достигал уровня Алеши Карамазова, но он не падал и до Смердякова. А сейчас каждое поколение сходит со сцены банкротом; только отдельные люди вырастают до задач нашего времени или хоть приближаются к ним. Развитие в сторону "дробности" слишком далеко зашло, пора, как сказал Сент-Экзюпери, связать рассыпанные прутья "божественным узлом".

Наступило время поворота от центробежного к центростремительному, к созерцанию мирового духовного центра и покаянию за то, что забыли о нем, увлекшись частными успехами в борьбе с силами природы. В прошлом на покаяние уходило несколько веков. Но у нас нет этих веков впереди. Мы богаты только сознанием ошибок. За несколько десятков лет моей жизни я понял, что в идеях Парменида (человек – мера всех вещей), Пико делла Мирандолы (автора "Панегирика человеку", XV в.) и Маркса была великая односторонность, великая слепота к разрушительным духовным силам. "Бесконечное развитие богатства человеческой природы как самоцель" (Маркс) было развитием не одного только добра, и "добро с кулаками" не случайно обернулось злом с кулаками. Не случайно Телемская обитель (на воротах которой написано: "Делай, что хочешь") обернулась колымским лагерем смерти. Упущено было условие "ассоциации, в которой свободное развитие всех станет основой свободного развития каждого"; условие Августина: "Полюби Бога и делай, что хочешь". Полюби Бога и свободно твори Его волю, неотделимую от твоей собственной.

Идея диктатуры, способной создать гармоническое, цельное общество, оказалась ложной. Но проблема, которую Маркс пытался решить с помощью "диктатуры пролетариата", не была

надуманной. Маховик либеральной цивилизации пошел в разнос и грозит катастрофой. Идеалы либерализма оказались таким же мыльным пузырем, как и идеалы Фурье, Сен-Симона и Маркса. Карабкаясь из-под глыб распавшейся советской системы, мы попадаем из одного процесса распада в другой. И нам снова вешают лапшу на уши.

Что только не раскручивало американское телевидение! Даже концепция конца истории, придуманная Френсисом Фукуямой, обсуждалась совершенно всерьез. Мне тогда – единственный раз в жизни – звонили из Би-би-си и спрашивали мое мнение. Видимо, корректным англичанам неудобно было самим сказать, что их разбогатевшая колония увлекается глупостями. Судя по тону сотрудника, беседовавшего со мной, он прекрасно все понимал, но нужен был русский мальчик, чтобы сказать, какого цвета платье голого короля.

Потом стали раскручивать Сэмюэля Хантингтона. Его концепция войны цивилизаций выстроена с таким количеством натяжек, что трудно их перечислить. Прежде всего, нет четкого признания, что речь идет об угрозе одной цивилизации, ислама. Индия ни при какой погоде не будет воевать с Западом. Китай в ближайшие десятилетия накапливает силы и не станет ввязываться в авантюры. Япония и Южная Корея – союзники США. Из дальневосточного культурного мира враждебен США только Вьетнам; с точки зрения глобальной стратегии это не очень крупная проблема. Не большая, чем Куба. Наконец, мир ислама раздроблен и даже в мысленной совокупности – не соперник США в большой войне. Клочки бумажного тигра, из которых теория склеивает нечто целое (и то – бумажное). В практической, не словесной войне ислам не блеснул даже в конфликте с Израилем. Угроза его – скорее в плодовитости мусульманок, чем в терроре фанатиков-самоубийц. И не надо путать террор с войной! Возможности террора возрастают вместе с общим ростом техники, они могут распространиться и на атомную энергию, и все же террор ближе к политической демонстрации, попытке слабого выглядеть сильным. В подобных демонстрациях участвуют не одни мусульмане. Протест против американизации глобуса имеет глобальный характер. Его участники и латиноамериканцы, и европейцы. Мусульманские экстремисты отличаются особым фанатизмом, и все же я бы хотел подчеркнуть общность мирового протеста против потоков пошлостей, льющихся в эфире, и господства транснациональных корпораций (с львиной долей американского капитала). Террор фотогеничен и очень эффектно смотрится с голубого экрана. Однако "нормальное" развитие рождало алкоголизм, наркоманию, СПИД. Нарастание экологической напряженности, нарастание психической напряженности от бесчеловечных темпов труда и транспорта – все это уносит в миллион раз больше жизней.

Крайние формы протеста, включая террор, – кожная сыпь, за которой стоит воспаление крови. Лечить надо кровь, лечить надо глобальную цивилизацию, вызывающую протесты. И ни бомбардировщики, ни ракеты здесь не помогут. Они не помогут и против демографических сдвигов – в пользу арабов во Франции, турок в Германии и афроамериканцев в Штатах. Действия НАТО в Югославии, скорее, приблизили ситуацию вроде косовской в самих странах НАТО, возле Лондона и Вашингтона.

Я не отрицаю, что различия между культурными мирами играют свою роль в международных конфликтах, но не они нас губят. Глобальную цивилизацию губит она сама, нарастающий отрыв человека от Бога, нарастающий отрыв науки от духовного и нравственного целого, нарастающее производство средств, создающих неизвестно какие дыры, вроде уже известной озоновой дыры.

Мы должны быть благодарны англосаксам, что они не были захвачены призраком утопии и не попытались вылечить нашу больную цивилизацию средствами, которые хуже самой болезни. Однако болезнь от этого не исчезла. Однако лекари-диктаторы измельчали, и борьба с ними стала второстепенной задачей. Выступила на первый план сама болезнь: переход от приручения природных сил к уничтожению природы; переход от прояснения образа и подобия Бога в человеке к затемнению этого образа суетой частных интеллектуальных задач; переход от равновесия центростремительных и центробежных сил культуры к духовному развалу; переход

от духовной свободы к духовной пустоте постмодернизма, от победы духа над буквой к культуре "мертвого Бога". Осталось совсем мало времени исправить перекокс, повернуться к внутреннему росту личности, к культуре созерцания и равновесия с природой. Это очень трудно, но не невозможно.

Поиски медленной помощи

Ни учение Христа, ни этика Канта не предотвратили Освенцима и Колымы. И нет надежды, что "теология после Освенцима" или "этика после Освенцима" (как можно назвать этику Левинаса) окажутся сильнее. Когда почва истории становится раскаленной лавой, культура воспламеняется и любая клетка может стать злокачественной. Коммунизм вырос из Просвещения, нацизм из романтизма; сегодня экстремизм растет из сопротивления исламу американизации, завтра он может вырасти из ужаса перед экологической катастрофой. Политическая мысль с ее безумными проектами – только следствие лихорадочного темпа научно-технического прогресса, следствие Нового, ставшего разрушительной силой. Потеряна способность культуры осваивать Новое, приручать его, сохраняя равновесие. Равновесие нарушено, разваливается иерархия ценностей. Разрушительная роль телевидения, о которой с тревогой писали Поппер и Гадамер, – только частный случай.

Бывший министр просвещения России Геннадий Ягодин пишет об экологическом кризисе: "Дальше – только два варианта: либо фашизм, диктатура, которая говорит: "Ведите себя так, иначе погибнете", либо такой уровень сознания, когда человек без диктатуры будет вести себя так, чтобы не погибнуть" (Зачем нужны умные люди? // Педология. 2001, май. С. 16).

К сожалению, именно умные люди создали реальность, с которой умные люди не знают, что делать. Глобальная диктатура не может утвердиться мирным путем, а войны – еще более короткий путь к гибели, чем нынешний порядок, охраняемый НАТО.

Одна из проблем, которую нельзя решить высокоточными ракетами, миллиарды недоучек. Примитивные народы умели воспитывать своих мальчиков и девочек. Простая культура целиком влезала в одну голову, и в каждой голове был нравственный порядок, а не только техническая информация. Культура была духовным и нравственным целым. Естественным примером этой цельности оставались отец и мать. Сейчас они банкроты. Тинейджер, овладевший компьютером, считает себя намного умнее деда, пишущего авторучкой. Мир становится другим каждые 5-10 лет, и все старое сбрасывается с корабля современности. В том числе – святыни, открывшиеся малограмотным пастухам. Сегодня они не стоят ломаного гроша. Русский поэт Брюсов в начале XX века говорил о грядущих гуннах, тучей скопившихся над миром. Они не придут извне. Они копятя в джунглях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Москвы. Они готовы разрушить культуру, как провинциальные самураи разрушили Хэйан (XIII в.).

Одно из бедствий современности – глобальная пошлость в эфире. Глобализм и пошлость становятся синонимами. Когда местные культуры поглощались эллинизмом, или конфуцианством, или ведизмом, это можно было принять. Нынешний глобализм вызывает яростное сопротивление. В этом сопротивлении есть безумие, напоминающее луддитов (уничтожение антенн спутникового телевидения достаточно похоже на ломку машин). Но есть и мудрость культуры, сопротивляющейся цивилизации (оба термина в понимании Шпенглера, а не Тойнби)³. Сопротивление американизации увеличивает шансы европейского проекта, сегодня несколько отодвинутого в сторону.

Европа – в отличие от всех империй, азиатских и старой Российской, осуществленный проект культурного мира как концерта (или хора) самостоятельных голосов. Россия XIX века, войдя в этот хор, впервые открыла в себе возможность полифонии. Одни русские опирались на Францию, другие на Англию, третьи на Германию – и возникла перекличка голосов внутри русской культуры, создавшая условия для расцвета русского романа и русской философии.

Я думаю, это достаточная проверка европейского проекта. И можно представить себе глобальную культуру как подобие сводного хора, куда отдельные культурные миры (Европа, ислам, Индия, Дальний Восток) войдут как отдельные хоровые группы. Музыкальное действо, в котором четыре ансамбля, разбросанных на десятки метров друг от друга, подчинялись одной палочке дирижера, я слушал в Риме в 1992 году. И для осуществления этой модели в политике не хватает только прислушивания к единому духу всех великих религий великих культурных миров.

В этом направлении действовали зачинатели диалога вероисповеданий папа Иоанн XXIII, Томас Мертон, Джон Мейн, Д. Судзуки, Далай Лама XIV и др. За поверхностными противостояниями современности стоит тенденция техногенной цивилизации подчинить себе мир и разрушить его, а в борьбе с ней – силы, пока разрозненные, но способные соединиться и в случае успеха – переломить тенденцию, коротко описанную Р.-М. Рильке.

Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки
дивным меандром. Он – краткость, прямая.
Так лишь машина вершит взлет свой
искусственнокрылый.
Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние
силы.

(Сонеты к Орфею. Ч. I. No 24)

Одна из особенностей великих культурных миров – способность к историческому повороту, к переходу от расширения вовне к внутреннему росту, от захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного центра и покаянию за отрыв от него. Соединенные Штаты пережили несколько движений аутсайдеров: волну, вызванную уходом Мертона в монастырь, дзэн, йогу. Но американская культура в целом, начавшаяся с высадки колонистов в Виргинии (XVII в.), не имеет способности к повороту в своей исторической памяти. Она очень односторонне воплощает дух Нового времени, дух Просвещения. Поэтому "Американский век" не может длиться вечно. Последний подвиг Америки укрощение тоталитаризма. Новыми лидерами станут страны, которые лучше других сумеют создать новый стиль жизни, включить паузу созерцания в череду дел, избавиться от лихорадки деятельности. Пионерами могут быть и большие, и малые страны, сильные и слабые. Мы не знаем, кто вырвется вперед. Но начинать должны все, кто не опустил до вымирания и резни.

Решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. Дети схватывают начатки созерцания быстрее взрослых. С самого раннего детства можно воспитывать понимание радости, которую дает созерцание. И это подготовит к переоценке ценностей, к переходу от лихорадки производства и потребления к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой. В созерцании, в тишине мы услышим снова Бога, заглушенного шумом машин, и Он нам поможет.

Если мы будем просто звать людей ограничить свои потребности, ничего не выйдет, кроме раздора. Петр кивнет на Ивана, Европа на Америку, Азия на Европу. Поворот может дать только открытие ценности созерцания, паузы созерцания в делах, в диалогах, в развитии мысли, в сближении влюбленных. Когда Моцарта спросили, что важнее всего в его музыке, он ответил: паузы! Паузы, в которых он слышал – и мы услышим, если вслушаемся – божественное дыхание.

Школа не может отвлечься от сегодняшнего дня, не может не готовить программистов, юристов, менеджеров. Но сегодняшний день быстротечен, и течение несет его к смерти. Слово "кала" на санскрите омоним: и время, и смерть. Культура, не нашедшая опоры в вечности,

падает под напором перемен.

Школы могут и должны учить науке созерцания: через искусство, через литературу. Со временем – используя телевидение, если оно повернется к величайшей проблеме века. А пока – используя медитативную лирику, медитативную прозу и медитативную музыку.

Конечно, школа слишком слаба, чтобы справиться со своей задачей, опираясь только на литературу и искусство прошлого, на классику. Очень многое зависит от современного искусства, от его способности возрождать вечные ценности, а не только играть в бисер. И очень многое зависит от диалога мировых религий, от их способности усваивать опыт соседей в общем "аджорнаменто", в общем осовременивании языка символов. И многое зависит от решимости отдельных людей, от их воли к созерцанию глубины, откуда приходит сила. Об этом – следующие главы.

Глас вопиющего в пустыне

Особенность современного кризиса в том, что в центре перемен, на Западе, достигнута относительная стабильность. Психологическая напряженность, вместе с грязными производствами, вывозится на периферию. И возникает впечатление, что если африканцы научатся жить на американский лад, то всем будет хорошо. Между тем, если уровень потребления США станет глобальным, мы сразу пожрем биосферу и сдохнем. Избежать этого можно, разве только повернув (как писал Чеслав Милош) от стремления "вперед" к стремлению "ввысь", к движению по лестнице духовного роста, при стабилизации роста и постоянном усилии очеловечивать народившихся детей, не давая им сложиться в массу недоразвитков. Это немного напоминает переход от развития ребенка, накапливающего силу мышц и запасы знаний, к духовной жизни взрослого. Но человечество не обладает единой волей, нужна солидарность. А без общего неба не выходит земной солидарности. Убедить 6 200 000 000 людей по доброй воле умерить свои аппетиты и искать радость в созерцании – задача, которая кажется невыполнимой. Разве Бог поможет.

Одним нужно развитие экономики, чтобы не умереть с голоду, другим чтобы ежегодно покупать новую автомашину. Одни хлопчут о планировании рождаемости, другие видят в этом кошунство. Одни говорят о глобализации, другие отчаянно противятся ей и готовы весь свет погубить, только бы пить свой собственный чай. Хаос национальных и религиозных идей не обещает ничего доброго, многие в России ждут катастрофы и читают Откровение Иоанна Богослова как прогноз погоды на ближайший месяц. События легко подводятся под туманные образы Апокалипсиса. Например, Чернобыль – звезда Полярный, павшая на источники вод. Фраза "Времени больше не будет" воспринимается как простое и понятное обещание. Хотя пророческие угрозы – только предупреждения (если не покаетесь), а обещания направлены внутрь, в царствие, которое внутри нас, и просто не могут быть реализованы вовне.

2000 лет тому назад люди не понимали, что время, пространство и материя нераздельны. Нельзя вытащить из связки время, оставив остальное нетронутым. Если не будет времени – не станет и пространства, не станет материи. И мы войдем в совершенно иное. Мистики называют это "вечным теперь". Они пережили то, о чем говорили, но только лично, внутренне, не как событие перед глазами. Пространство, застывшее в остановленном времени, это икона, "неподвижный образ незыблемой вечности" (так или примерно так выразился о византийской иконе Р.О.Блайс). Но символ нельзя толковать как факт. Опыт мистика Иоанна обещает другим мистикам пережить то, что он пережил, и он не лгал, многие мистики после него пережили "вечное теперь". Но это не путь, по которому могут пойти народы. Как образ народного спасения, это миф. И образ гневного Бога, пославшего ангела свернуть небо, как свиток, – тоже миф.

Реально другое: возможность гибели человечества на земле. Не по воле Бога, а по собственной дурной воле, по несогласованности миллиардов волей. И как ни странно то, что я скажу: сам Бог

не в силах предотвратить катастрофу. Ибо существует свобода воли. Бог входит только в душу, открывшую Ему двери. Бог сможет преодолеть раздор только вместе с нами. Бог может спасти человечество только вместе с нами, а не без нас. Никакие ангелы без нас ему не помогут. И гибель цивилизации вполне вероятна. Но я не вижу здесь неизбежности.

Неизбежность – довольно редкая вещь в истории. Становление жизни, становление человека, развитие цивилизации идет через ряд маловероятных поворотов. Как будто Бог имеет свой план и присоединяется к маловероятному, дает ему силу и с Богом оно побеждает. В роковом стечении обстоятельств всегда почти есть щелочка для свободы воли, вдохновленной Богом. Даже Ставрогин имел шанс спастись, если покается; и наша цивилизация не хуже этого героя Достоевского. В другой книге, у Зинаиды Миркиной, один из персонажей говорит Христу: что у меня на роду, мол, написано... А Христос отвечает: написано на плоти, дух свободен. Что-то в этом роде неоднократно показывают и история, и искусство. В преступлении Раскольникова чувствуются и инерция помысла, и прорывы сквозь инерцию, мгновения свободы. Искушение и благодать накатывают волнами, и у каждой волны есть свой гребень и свой спад. Когда светлая волна спадает, может победить волна тьмы, хотя сама по себе она не сильнее. Впрочем, слова "свет" и "тьма" условны, и дальше я воспользуюсь другими символами: море и пруд.

Душу можно вообразить себе заливом, куда забегают большие океанские волны; но иногда ум создает перемычку, обособляется, и тогда душа превращается в пруд. Застойную воду шевелит любой комок грязи, шлепнувшийся в нее. В прудовом и болотном царстве правит всякая дрянь. Она прячется в уголках памяти и дремлет, пока какой-то случай, какая-то ассоциация позволит зацепиться и как бы с черного хода, прячась за любую спину, проникнуть во внутренние покои и рассестись на авансцене сознания. Раскольников услышал, что в 7 вечера старуха будет одна, и заработал механизм идеи, инерция искушения, помысел теоретика: поставить эксперимент.

– Если душа – залив, единый с морем, океаном, то движение, вызванное камешком идеи, ничтожно и будет смыто большой морской волной. Но душа, оторвавшаяся от бесконечности, ставшая крошечным прудовым мирком, удерживается от искушения только инерцией нравственных привычек. Без жестко воспитанных привычек человек легко покоряется разным фантазиям, идеям, носящимся в воздухе, и наконец – духу превратности. В нас есть какой-то дух разрушения и саморазрушения, и если душа не заполнена чем-то лучшим, он может стать хозяином.

Достоевский изображает не дисциплинированных немцев, а фантазирующих русских, доступных всем неожиданным идеям. Подхваченный лучом закатного огня, Раскольников чувствует все ничтожество своей идеи и с отвращением отбрасывает ее. Но потом большая волна спадает. У всякой волны есть подъемы и спады. В полосе спада залив превращается в пруд, и Раскольников, или Аркадий Долгорукий, или Иван Карамазов способны поддаться самым подлым искушениям. Стойкость души требует способности держаться добра не только под лучом закатного огня, но и во тьме, в богооставленности, сохранять память большой океанической волны, смывающей прудовую грязь, сохранять ценностей незыблемую скалу, на которой идеи-искусительницы сразу находят свое место. Раскольников понял это только тогда, когда идея захлебнулась в луже крови. Но опыт Раскольникова очень трудно передать миллионам людей; и сегодня они снова благословляют сталинский топор. Инерция тьмы в их душах так велика, что кажется непреодолимой. А тут еще приходит мысль о космических силах распада, безгранично более сильных, чем человек, – и добрые люди опускают руки, не верят в свои силы.

Однако мир существует вопреки законам термодинамики, вопреки разбегающимся галактикам. Бог вновь и вновь связывает рассыпающийся мир. Мир не был сотворен единожды. Мир вечно творится.

Мне нравится метафора Гераклита: мир – вечно живой огонь. Но этот огонь не горит сам по

себе, без высшей воли. Греки хорошо представляли себе то, что можно увидеть или представить себе увиденным. А по ту сторону пространства и времени, по ту сторону царства Хроноса они не заглядывали. И не угадывали вечного возрождения вечно рушащегося мира плоти, вечного творения из ничего.

К этому незримому прислушивались евреи и расслышали "да будет!" – но поняли это как единичный акт или, вернее, шесть единичных актов, после которых Бог присел отдохнуть, словно плотник или каменотес. В чем-то правы греки: вечность не имеет начала и конца. В чем-то правы евреи: мир времени, пространства и материи вечно творится заново. С вечной паузой созерцания, с вечной субботой, с вечным возвратом к молчанию, из которого родится слово.

Образы, созданные древними евреями, иногда нелепы физически: Иисус Навин не мог остановить солнце; иногда они нелепы этически и до сих пор вызывают возмущение (например, книга Иова у Юнга: как оправдать Бога, отдавшего праведника в руки сатане?). Но за метафорами открываются глубины, в которые греки не заглянули. И каждое время вынуждено искать новые толкования библейских и евангельских легенд. Этот процесс виден и в самой Библии. Исаяя иначе понимает Бога, чем Моисей, и невозможно представить себе Книгу Иова во времена Давида и Соломона. Бог не менялся, но переживания Божьего света в груди у разных духовидцев разные и рождающие разные слова. Если мерить по вершинам, то духовидение становится глубже, тоньше. Но, кажется, только до известного времени. Никто не превзошел Будду и Христа.

Быть может, мешает ум, от века до века более сложный; целостность Бога доступнее простоте. Позднейшие откровения приобретают характер толкования первичных образов, первичных заповедей. Но поток откровения не иссяк не только в конце I века, но и в конце XX века. В мире ислама откровение приходило к суфиям, в западном христианстве – к Экхарту, Рейсбруку, Иоанну от Креста, Ангелусу Силезиусу, Рильке. Я нахожу молнии откровения у Силуана Афонского, у Антония Блума, у Томаса Мертона. Участие Святого Духа в природе и культуре никогда не кончалось, хотя бы в форме вестничества (как это назвал Андреев), – сквозь вдохновение поэтов, художников, музыкантов. И в человеческой истории непрерывно происходят чудеса. Здесь многое легче сказать стихами, чем прозой:

**Мир только чудом не исчез.
Удерживает мирозданье
Невидимый противовес,
Немое противостоянье
Души с ее крылатым "нет"
Растущей тяжести в ответ.
Души, поставившей предел
Могуществу и власти тел,
Предел всем волнам и ветрам,
Души, противящейся нам⁴.**

Тема эта все время была с нами в Коктебеле, и там было написано еще несколько стихотворений – о том же. Вот первое из них:

**Творецдохнул, и мир возник.
Вздох Бога – это высь.
Жизнь вечная есть каждый миг
Творящаяся жизнь.
Нет акту творчества конца.
Огонь в недрах не потух.
Во мне – дыхание Творца,
Животворящий Дух.**

**И как бы ни текли года,
Не утечет простор.
Творится жизнь во всем, всегда.
Всему наперекор.**

Поток творчества выправляет не только мир – он выправляет душу. Надо только целиком отдаться созерцанию божественной цельности, как Иов в конце книги, когда Бог открылся перед ним:

**Я не знаю, кто в мире смог
Оправдать этот смерч бесцельный.
Я не знаю, что значит Бог
Тот, другой, от меня отдельный.
Есть ли мера у бытия,
Что до жизни и что за гробом?
Но в моем бесконечном "я"
Ни отчаянья нет, ни злобы.
Если чаша души тиха,
Если в ней – средоточье света,
Если нету во мне греха,
Для отчаянья места нету.
Если сердце вопрос прожег
О причинах смертей бесцельных,
Если стал бесконечный Бог
Тем, Другим – от меня отдельным;
Если душу на части рвут,
Если больше души тревога,
Значит, надо вернуться внутрь,
Значит, я отошла от Бога.
Дай мне жар Твоего огня!
Я Тебе до конца открыта.
Святой Отче, прости меня
Вот за то лишь, что мы не слиты
До конца.**

Я иногда думаю, что только человеческая свобода есть почва, в которой Бог может раскрыться в своей второй ипостаси и повести за собой. И только совокупность святых создает полноту Божьего бытия и гармонию вселенной. Может быть, именно это угадывал Шефлер (Ангелус Силезиус) в своем дерзком двустишии: Я без Тебя ничто, но что Ты без меня? Пока люди не впускают в себя Бога, Бог, чуждый человеку, не определяет человеческого бытия, не царит в истории, в культуре.

**Как давно мир Божий болен?
О, когда впервые
Сила вырвалась на волю,
Власть взяла стихия?
Кто на сей вопрос ответит?
Кто нам точно скажет
Сколько дней, часов, столетий
Князь бездушный княжит?
Но не он хозяин всходов
Тот, кто сеял семя.
Все бесчисленные годы
Это только время.**

**То, что канет, то, что кружит,
Рушит, а не лечит.
И оно всегда снаружи,**

**А внутри нас – вечность.
Не единой силой живы
Тайною великой.
Есть в глубинах молчаливый
Внутренний владыка
Только Он – наш царь по праву.
Мир – владенье Духа.
Бог есть космос, а не хаос,
Строй, а не разруха.
Длится каждое мгновенье
Клич в Господнем стане
Бьется сила разрушенья
С силой созиданья.
Кто Творцу на самом деле
Вышел на подмогу?
Мы пожертвовать сумели
Не собой, а Богом.
И останется навеки
В небеса впечатан
Бог, распятый в человеке,
Бог, людьми распятый.
Но вершится неизменно
Тайная молитва
Нас зовет Творец вселенной
На немую битву.
Адский грохот бьет и глушит
Голос Божьей шири:
Строй и космос в ваших душах
Строй и космос в мире.**

Чтобы Бог помог людям, нужно согласие людей помогать Богу. Пусть согласные составляют ничтожное меньшинство. Но все в истории начиналось с нескольких людей и даже с одного человека, решившего, что он и Бог – это уже большинство.

Нужно меньшинство, которое учится молитве и учится созерцанию, смыванию мусора, нанесенного в души суетой жизни и болтовней ума, смыванию мусора волнами света, волнами моря, волнами холмов и гор, древесных крон под ветром, волнами стихов, музыки, волнами форм и красок, созданных искусством. Мусор, занесенный в душу, совсем не безобиден, я уже говорил, за него цепляется дух превратности, он прячется в углах сознания и пользуется всякой минутой духовной вялости, прудовой замкнутости, чтобы вылезть и попытаться овладеть нами. Всякое погружение в мир бездушных частных дел, даже для очень важных дел, опасно, чревато грехом, дает всплыть грубым и тонким соблазнам и без противовеса в молитве и созерцании, от которых мы отвыкли, искажает дух. Между тем, современную цивилизацию невозможно представить себе без нарастающего погружения в бесчисленные сложности бесчисленных наук и технических устройств. И восстановление духовной целостности человека становится все более трудной задачей. Чтобы решить ее, нужно великое согласие. И в следующий раз мы поговорим о том, что делается во всем мире ради этого согласия.

На краю безмолвия

Солидарность ради спасения

То, о чем я хочу сказать, Михайло Михайлов назвал планетарным сознанием. И я начну со странички из интервью, которое он дал Ирине Дорониной (Дружба народов. 2000. No 2):

И.Д.: Создается впечатление, что человечество стремительно катится к всемирной катастрофе. Видите ли вы хоть какую-то обнадеживающую перспективу?

М.М.: Я вижу ее только в религиозном возрождении. Понимаю, что для современного человека, уверенного, что он – лишь былинка, полностью находящаяся во власти физических, биологических, психических и социальных законов, такое заявление звучит диковато, но язык нового религиозного сознания, которое я называю "планетарным", почти не имеет отношения к языку церковному. Когда меня спрашивают, верую ли я в Бога, я отвечаю: объясните мне сначала, что вы подразумеваете под словами "Бог" и "веровать". Исходя из этимологии слова "религия" (по-латыни "связь"), я имею в виду связь внутреннего мира личности и мира внешнего, Космоса. Она не имеет ничего общего с тем механическим влиянием внутреннего мира человека на события его жизни, какое устанавливает психоанализ, не только по Фрейдю, но и по Юнгу. Напротив, новое сознание предполагает необъяснимую, но вполне реальную зависимость самой жизни, истории от внутреннего мира человека. Если человек смотрит на мир не как на живое целое, таинственным образом связанное с душой каждого, а как всего лишь на внешний объект, то объектами постепенно становятся и люди с их страданиями, даже ближние, и в конце концов человек остается совершенно один в Космосе-объекте. И тогда страдание, вызванное одиночеством, открывает дорогу к религиозному возрождению, мир снова превращается в живое целое, за судьбу которого каждый человек несет полную ответственность. Душа выходит из одиночной камеры на свободу.

И.Д.: К слову, в заключительной части своей работы "Возвращение Великого Инквизитора" вы пишете: "Родина человека – это свобода, а не географическая, государственная или национальная принадлежность". Следовательно, под свободой вы понимаете не свободу в политическом, экономическом и даже физическом смысле?

М.М.: За историю человечества вопрос о том, что есть истинная свобода, обсуждался столько, сколько, пожалуй, не обсуждался ни один другой. Обычно под свободой подразумевают свободу слова, волеизъявления, совести и т.п. Тем не менее, взгляните: на Западе все эти свободы существуют довольно давно, но сколько же там внутренне несвободных людей, несвободных от собственных пристрастий – к наркотикам, к наживе, к власти... И в то же время даже в условиях тоталитарных режимов, даже в лагерях существовали люди, которые были внутренне свободны.

И.Д.: Да, мы много читали об этом и у Солженицына в "Архипелаге", и у Синявского в "Голосе из хора", вы, вероятно, узнали это на собственном опыте. Но есть ведь и другой опыт, о котором писал Шаламов, – страдание может ожесточать.

М.М.: Да, необходимое условие состоит здесь в том, чтобы в страдании человек обратил взор на себя и осознал, что страдание дано ему в наказание не назначенное по суду, а в наказание за собственное неумение, следуя внутреннему голосу, открыть для себя путь к истинной свободе личности.

И.Д.: Если я правильно поняла, вы говорите о новой, глобальной религии?

М.М.: Именно. Об абсолютном начале, которое должно быть явлено человечеству как религия личности и свободы. В ее основе будет лежать способность человека следовать собственному внутреннему голосу, что требует невероятных духовных усилий. Когда Линкольна, каждый

день уединявшегося на несколько часов для молитвы, спросили, молится ли он о том, чтобы Бог был на его стороне в Гражданской войне, он ответил: "Ни в коем случае! Я молюсь о том, чтобы мне достало сил оставаться на Его стороне". Вот эта духовная сила и открывает путь к истинной свободе личности, которая каким-то мистическим образом приводит порой и к внешней свободе, и к физическому спасению, и к осознанию связи между внутренним и внешним. Эта связь недоказуема, но существует. И когда достаточно много людей это поймут, появятся основания для религиозного возрождения".

Мы много раз сходились с Михаилом Николаевичем во взглядах, начиная с 60-х годов, и я рад, что и сейчас мы не разошлись. Однако кое в чем я иначе смотрю на вещи. Я не думаю, что возможна единая религия для индийской, китайской, мусульманской и христианской цивилизаций. Разве только каждая из них перестанет быть самой собой, как это случилось с Древней Грецией и Древним Римом. Такой поворот в ближайшие века немыслим. Между тем, движение к катастрофе идет быстрее. И я просто не могу представить себе религию, которая отодвинет христианство или буддизм так, как христианство отодвинуло племенные культы. Я долго вживался в символику великих религий и в каждой из них почувствовал великую бездну, способную уравновесить дырявый мешок пространства, времени и материи. В этой предельной глубине, по-моему, и коренится "планетарное" духовное единство: в сознании, что глубина каждой великой религии ближе к глубине другой религии, чем к собственной поверхности. На этой глубине, постижимой только в молчании, за уровнем слов, возможно согласие созерцателей глубины. И диалог созерцателей может стать согласным хором. А к этому хору постепенно могут примкнуть и другие, подталкиваемые необходимостью.

Еще в XIX веке Рамакришна созерцал внутреннее единство Будды, Христа, Мохаммеда, Джинны и, по-моему, правильно установил уровни, на которых они стоят. Впрочем, иерархия – опасная тема, и лучше оставить ее личному духовному опыту. Сегодня важно другое: внутреннее единство разных образов высшей святости. В Индии это осознается со времен Вед: "Одну и ту же птицу мудрецы называли разными именами..." Западный ум, опирающийся на логику Аристотеля, с трудом усваивает чувство и понимание недвойственности. Однако II Ватиканский собор все же перешел к диалогу, то есть к сознанию, что католицизм обязан не только учить, но и учиться. И есть признаки, что элементы восточной философии начинают входить в католическое богословие так же, как некогда во вселенское христианство вошли элементы платонизма. Так, в справочном аппарате к книге "Доброе сердце", о которой я еще буду говорить, есть определение вечной жизни, основанное на принципе недвойственности: "По христианскому учению, вечная жизнь – не бесконечное и утомительное прохождение времени; напротив, это безвременное теперь, предшествовавшее сотворению всякой двойственности, даже двойственности начала и конца". За этими несколькими словами стоит сплав опыта мистиков Запада (вечное теперь) и философии Востока.

Опорой диалога религий может быть и тринитарное мышление, развитое византийцами. Если человек и Бог могут быть слиты "неслиянно и нераздельно", то почему нельзя помыслить себе "неслиянное и нераздельное единство" великих религий? Если все они помечены печатью Святого Духа? Дело только за тем, чтобы признать реальность этой печати. И она начинает сознаваться великими созерцателями нашего времени.

Трудности возникают, как только мы попытаемся перенести опыт встречи созерцателей вширь, в массы священнослужителей и верующих. Наступление техногенной реальности может давать парадоксальные результаты. Человек массы, ставший мерой всех вещей, делает своей мерой удовольствие. И тогда рушатся все высшие ценности: молитва иногда приятна, но секс приятнее, а наркотик дает еще более острое наслаждение. Как реакция укрепляется фундаментализм, религия запретов, основанных на букве Писания. Каждый фундаменталист отстаивает свою букву, и арабский фундаментализм несовместим с иудейским (мы это видим в Израиле). От всего этого хаос только возрастает. С другой стороны, атеист Мелихов восстает против "мастурбационной цивилизации", исходя из чувства человеческого достоинства, и ищет

путей к спасению человечества. Этого достаточно для плодотворного диалога. Можно объединить все противотечения, которые рождает духовный распад мира.

Одно из таких противотечений – чувство ритма истории, чувство назревшего поворота, назревшей переоценки ценностей. Развитие техногенного мира долгое время было условием духовного роста. Города, а не деревни создавали великие цивилизации. И техника, позволив сократить рабочий день, на первых порах освободила человека для всестороннего развития. Маркс отчасти был прав, рассчитывая на это. Но он не учел негативных последствий углубления в технические проблемы. Освободились руки, но закабален был ум, и чем дальше, тем больше. Сегодня дело дошло до того, что техногенный мир, разрастаясь, угрожает самому существованию биосферы. Можно создать роботов, которые будут управлять машинами без кислорода воздуха и без людей, но перспектива такого технического прогресса сравнима с диагнозом прогрессивного паралича.

Приходится вспомнить, что есть разные степени свободы – не только вширь, но и ввысь, не только "вперед, к новым землям!", "вперед, к новым завоеваниям техники!" – но и "ввысь, к новым ступеням духовного роста". Лестница вверх ограничена справа и слева. Поворот к медленному созерцанию требует пространственного самоограничения. Знаковая фигура этого поворота Томас Мертон, назвавший трапистский монастырь "четырьмя стенами своей свободы". Без ограничения роста техногенного мира, без охраны условий для созерцания нельзя перейти к цивилизации духовного роста – к тому, что отличает совершеннолетнего от подростка. Это общая задача всех стран. Это важнейшее условие сохранения жизни на Земле.

Наступил час переоценки ценностей. В западной цивилизации господствует пафос достижений, пафос игры на выигрыш. Этот пафос захватил и нашу страну. Г-н Березовский открыл его заново и в каком-то порыве самопознания озвучил его в эфире. Он, кажется, не читал Макклелланда и не знал, что теория достижений давно выстроена. Современный капиталист – не скупой Мольера или Пушкина, ему неинтересно копить деньги в сундуках. Он может и не прикасаться к деньгам и жить скромно. Цифры с большими нулями – счет очков в его игре. Но для души бизнес так же разрушителен, как рулетка. И возрождение души требует восстановления ценностной вертикали, поворота "сердца горе!". Хотя совершенно не обязательно, чтобы каждый дошел до самого верха, до встречи с Богом. Достаточно стремления и доверия к тем, кто дошли.

Чеслав Милош, у которого я заимствую образы "вперед" и "вверх", говорил о подмене истинного "вверх" ложным "вперед". Я думаю скорее о ритмической смене ценностных ориентаций. Чистого порыва вверх ни у какой цивилизации не было, это и в средние века было достоянием одних монахов. Пожалуй, строго "вертикальной" была разве цивилизация Древнего Египта. Египтяне строили пирамиды и совершенно не старались расширить свое культурное пространство. Но соседи оказались более динамичными. Началась игра имперских сил. Египет в нее втянулся, проиграл и оказался провинцией персидской, эллинистической, римской. Установился римский мир. Но пафос расширения его иссяк. Не хватало сил даже для защиты размахнувшихся границ. Дела шли худо. И победила религия, родившаяся в презренной Иудее; она осмыслила внешне неподвижную жизнь, создала внутреннее пространство храма и увлекла поисками царствия, которое внутри нас. На этой вере держалось единое для Средиземноморья небо.

После этого около тысячи лет излишняя любознательность считалась похотью. Данте встретил Одиссея в преисподней. По византийской кормчей книге, за путешествия в чужие земли полагалось проклятие. Индеец, выехавший за рубеж, терял касту. Китайцы просто презирали варваров и не верили, что у них можно чему-то научиться. Особняком стоял ислам. Правда, беда (новшество) так же пугало правоверных, как ересь (выбор). Но расширение границ оправдывалось распространением веры, а международная торговля была освящена примером Мохаммеда. Контакт с исламом был одним из факторов, будораживших Европу. Вторжение

мавров в Испанию вызвало реконкисту, продолжением реконкисты стал прыжок в Атлантику. И тут вырвалась в пространство динамика, накопленная в вольных городах. Началось Новое время.

Героями снова стали Одиссеи, открыватели новых земель, и Прометеи, изобретатели машин. Они создали глобальную цивилизацию – с небом, по-прежнему разорванным на куски: христианским, мусульманским и т.п. Они создали техногенный мир, теснящий и разрушающий биосферу. Те, кто созерцают этот процесс как великое целое, не запутываясь в мелочах, вступают в ряды солидарных в борьбе за жизнь как историки, как экологи, попросту люди с широким взглядом на вещи. Читатели научной фантастики могут мечтать о завоевании космоса. Но пока, кроме Земли, у нас ничего нет. И на Земле нет никакой другой альтернативы гибели, кроме нового поворота к царствию внутри нас. Без этого призывы к солидарности столкнутся с личным и национальным эгоизмом и люди задохнутся, грызясь друг с другом за последний глоток воздуха.

Пару лет назад мне пришлось участвовать в конференции "круглого стола" "Этос глобального мира". Вел его Михаил Сергеевич Горбачев. Как политик, он понимал необходимость единых нравственных норм для всех режимов и стран. Но профессора, собравшиеся в Горбачев-фонде, с ним не согласились. Они согласились с дьяконом Андреем Кураевым, что нравственность связана с религией, а религии несовместимы. Я в одиночестве защищал противоположный тезис: религии несовместимы на уровне буквы; дух, царствующий в глубине, един. В поисках авторитетов я сослался на Далай Ламу. В 1996 году в Швейцарии на юбилее Общества морального перевооружения его спросили, в чем особенности ламаизма. Он ответил: "Главное – любовь в сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские – дело второстепенное". Профессор Шохин (не политик, а философ) уверенно оборвал меня: "Ну, это демагогия". Я промолчал. Против презумпции неискренности, игры на публику трудно бороться. Нам слишком много лгут. Однако постепенно у меня накопились факты для ответа. В книге Томаса Мертона "Мистики и дзэнские наставники" можно прочесть: "Я могу сказать, что для Дайзетцу Судзуки, бесспорно, самого авторитетного и законченного истолкователя традиции Риндзай (последователей старца Линь-цзи. – Г.П.), "самое важное – это любовь". Это он мне высказал в доверительном общении (in a personal conversation), и я почувствовал, что так он подвел итог всему, что когда-либо писал, пережил или говорил" (Mistiks and Zen masters. N.Y., 1999. P. 41).

Свидетельство Мертона многого стоит. Не знаю, попадались ли читателю его странички о созерцании, напечатанные в "Вестнике РХД" довольно давно, возможно, вскоре после смерти Мертона в 1968 году. Мне этот отрывок сразу дал масштаб, с которым я сопоставил свой собственный скромный опыт, и я безусловно доверяю интуиции одного из величайших созерцателей XX века. Беседа с Судзуки произвела на него огромное впечатление, я слышу отзвуки ее в двух других местах книги: "Что-то проясняет до ошеломления, когда говоришь с японским буддистом дзэн (отвергающим всякую букву буддизма во имя духа. Г.П.) и находишь, что между вами больше общего, нежели с теми соотечественниками, которые мало заботятся о религии или проявляют интерес только к внешней ее стороне" (с. 209). И еще: "Хотя существуют многие важные различия между традициями, у них есть и много общего, включая некоторые основные черты, которые отделяют монаха и дзэнца от людей, предающихся жизни, которую я назвал бы агрессивно несозерцательной" (с. VII). Говоря о монахе, траппист Мертон имел в виду, прежде всего, себя самого.

Я получил книгу Мертона в руки 21 мая 2000 года, в первый же день, проведенный в Осло, а 23 мая присутствовал на встрече Далай Ламы с норвежцами. Первыми на эстраду вышли старейший местный философ Арне Несс, Эрик Даманн, основатель общества "Будущее в наших руках", и епископ Розмари Кён. Госпожа епископ держалась очень просто и улыбнулась пятитысячной аудитории, как при встрече со знакомым на улице. У мужчин были более собранные лица, выразившие готовность что-то сказать (они действительно воспользовались правом одного вопроса, чтобы излагать свои взгляды). А Далай Лама, вышедший из

противоположной кулисы, был более чем прост. Он всем собой взламывал торжественность встречи.

В Швейцарии, в 1996-м, его, видимо, сковывала обстановка юбилея. В Норвегии он чувствовал себя по-домашнему, в одном из убежищ тибетской диаспоры, рассыпанной по всему свету. Его поведение было совершенно свободным от сознания своего сана. Так мог держаться дзэнский наставник Иккью, называвший себя "сыном безумного облака"; анекдоты о нем издавались и переиздавались в Японии с XV века до наших дней. Не знаю, каким был Далай Лама в Тибете, с ног до головы опутанный ритуалом. Выбранный для своей роли мальчиком пяти лет, он зависел от конгрегации лам еще больше, чем президент РФ от кремлевской администрации. Изгнание вытолкнуло его на волю, на перекресток всех восточных и западных духовных течений, и он раскрылся как личность с точкой опоры внутри и необычной свободой вовне, в поведении. То, что он сказал в Швейцарии, было теперь удостоверено каждой улыбкой, каждым жестом. Не было никакой заданности, никакого "чина". В буддизме это ближе всего к дзэн, в православии возможно только у юродивого.

Выходя на эстраду или кончая ответы на вопросы, Далай Лама соединял ладони в традиционном благословении, но с какой-то улыбкой дзэнца. Ее можно смешать с улыбкой авгура, однако она имеет другой смысл. Это легкая подсказка о ничтожестве всех жестов, о различии между луной и пальцем, указывающим на луну. Дзэнец, в отличие от авгуров постмодернизма, знает о реальности луны (примерно как св. Силуан писал: "Я не верю в Бога, я знаю Бога"). И именно поэтому он не боготворит дорожные знаки и указатели.

Лекция Далай Ламы была посвящена этике третьего тысячелетия. Основой ее он считал внутреннюю готовность встретить неожиданное и найти непредсказуемый ответ, опираясь на постоянный контакт с вечными началами: любовью, миролюбием и терпимостью. Это несколько напоминает правила дзэнской живописи: рисуй, что хочешь и как хочешь, но в состоянии единства с космосом (без раздвоения на физическое и духовное). Все видимые каноны заменяются канонами внутреннего взрыва творчества. В христианской этике что-то подобное сказал Августин: "Полюби Бога и делай, что хочешь". И о том же – менее парадоксально – говорят две наибольшие заповеди Христа (полюби Бога всем сердцем и ближнего – как самого себя). Все остальное в христианстве есть нечто меньшее, и если законы сталкиваются с сердцем, повернутым к Богу, Христос пренебрегал законами (и нам повелел быть подобным Ему).

Меня иногда спрашивали о том, как я представляю себе XXI век. Я отвечал, что XXI век, возможно, будет еще более неожиданным для сознания, сложившегося в XX веке, чем XX век – для XIX. И то, что говорил Далай Лама, опираясь на свое понимание буддизма, вытекает также из глубокого понимания нашей христианской или, может быть, постхристианской цивилизации. Напрашивается вопрос о диалоге: он был задан епископом, госпожой Кён, и Далай Лама подробно ответил. Мой друг Петер Воге записал ответ на кассету. Вот русский перевод записи:

"Епископ г-жа Розмари Кён: Ваше превосходительство, я недавно читала книгу, которая произвела на меня большое впечатление, – "Доброе сердце", ваши заметки о Евангелиях. В вашей сегодняшней лекции вы повторили фразу из этой книги: диалог между буддизмом и христианством может быть расширен и люди могут учиться любить друг друга благодаря различиям между ними. Можете ли вы сейчас раскрыть возможности диалога между буддизмом и христианством?"

Далай Лама: Как я уже сказал раньше, все великие религии имеют одинаковый потенциал и одинаковую цель, несмотря на то, что между ними существуют конфликты и разногласия, даже серьезные разногласия. Но то, что существуют разные религии, очень важно – разные религии делают возможным видеть индивидуальные особенности жизни; эти особенности и различия так же важны, как общая цель всех религий. Как я уже упомянул, одна и та же религия для всего

мира немыслима и нежелательна. И хотя у всех религий одни возможности, ни одна из них не способна стать единственной мировой религией – религии нуждаются друг в друге.

Это означает, что надо учиться понимать верования друг друга. И чтобы добиться этого, я думаю, мы, прежде всего, должны иметь мужество признать различия, увидеть различия и даже противоречия между религиями. Мы должны осознать, что у каждой религии свой характер, что она отличается от других.

Однако различия существуют только на одном уровне, это так же важно. Если мы посмотрим на цели и на то, что у всех религий общее, мы скоро поймем, что эти общие черты гораздо важнее, чем различия, и что эти общие характеристики существуют на более высоком уровне. Терпимость, мир, любовь вот общие черты всех религий.

Итак, чтобы вести плодотворный диалог между буддизмом и христианством или между любыми другими религиями, надо, прежде всего, попытаться реализовать те качества, о которых все религии говорят и которых добиваются от нас. Другими словами, мы должны стать терпимыми, миролюбивыми, любящими. Мы должны понять, когда религия нужна, и попытаться в таких случаях быть тем, что религия от нас требует. И тогда мы увидим, что религия проверяется не в церкви. Там мы сидим с закрытыми глазами, мирно, спокойно, ничто нас не возмущает – и мы становимся терпимыми, любящими и миролюбивыми без помощи религии, да, это даже совсем не трудно быть (в церкви. – Г.П.) любящими и терпимыми.

Другое дело – вне церкви, когда мы живем своей обычной жизнью и нас оскорбляют, задирают, когда я думаю, что со мной несправедливо поступили, возмущаюсь чем-то, когда мы сталкиваемся с трудной проблемой и захвачены негативными эмоциями, – вот когда нужна религия! Нам нужна религия в бизнесе, в повседневной жизни, когда нас надувают и мы испытываем искушение негативной реакции. И так же – это очень важно, – когда мы сталкиваемся с людьми другой веры. Вот когда надо напоминать себе: "я христианин, я буддист, я индуист". Не для того, чтобы подчеркнуть различие между собой и другими, но чтобы напомнить себе, что религия от меня требует, вспомнить, что надо быть терпимым, действительно встретить и понять другого и его или ее религию.

Поэтому я думаю, что прежде всего надо жить в духе своей религии и через этот опыт приобрести способность понимать религию другого. Тогда мы будем не только видеть различия, мы научимся почитать верования другого, научимся почитать и то, что различно, и то, что сходно.

(Здесь мне хочется, перебив текст, вспомнить слова св. Силуана: "Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, – не христианин". Теперь продолжим.)

Очень важно быть терпимым. Терпимости учат все религии. Очень важно встречаться с исповедниками других религий как с соседями, понимать и почитать сходства и различия их вер. Важны также встречи на более академическом уровне, обсуждение сходств и различий. Это второй шаг: познавать традиции друг друга. Открытость другим традициям очень плодотворна. Для меня всегда были важны встречи с христианами, укорененными в практике своей веры, со священниками и епископами. Это давало случай почитать их традиции, и понимание их религии помогало углубиться в свою собственную...

Третий шаг – общее паломничество, путешествие по святым местам других религий, не туристами, а паломниками. Я побывал в Иерусалиме не как посетитель или турист, но как паломник. И я участвовал в семинаре имени Джона Мейна, где более ста христиан и нехристиан вместе жили, читали, погружались в молчаливую медитацию. Два года спустя мы вместе направились в Индию, и произошло событие, которое я считаю историческим: впервые христианские священники сидели в медитации под деревом Бодхи (где Будда испытал

просветление. – Г.П.). Я думаю, что можно получить огромное вдохновение от таких святых мест чужих религий.

Четвертый шаг – устраивать встречи между главами общин и представителями священства разных религий, чтобы они могли постигать чужие традиции, и не только изучать их – они должны пытаться войти в них с искренним благоговением. В семинаре Джона Мейна я пережил великий опыт. Я должен был не только прочесть отрывок Евангелия, но толковать его и обратиться к другим с речью, основанной на прочитанном.

Как буддист я, разумеется, не верю в Бога, в Творца, но когда я читал Евангелие и должен был объяснить то, что прочел, я говорил, что Творца невозможно отрицать: взгляните вокруг – разве не ясно, что все эти вещи и все эти силы должны иметь начало! Это было моим скромным даром христианским братьям и сестрам".

Последние фразы могут смутить, показаться скептическими, безразличными. На самом деле, это слова мистика, для которого молчание отец слова и слово "Бог" – только одно из названий внутренней бездны, уравновешивающей бездну внешнюю. Там, где верующий христианин или мусульманин скажет "Бог", буддист говорит "неставшее, нерожденное, несотворенное". Мартина Бубера это различие в словах не обмануло, и он признал слова "неставшее, нерожденное, несотворенное" одним из имен Бога. Я думаю, с этим согласился бы и Мейстер Экхарт. У него в проповеди есть загадочная фраза: "И Бог преходит". Я думаю, что Экхарт в умозрении, в мистическом опыте, в молитвенном опыте мог обращаться к божественному, к глубине священного не со словами "Бог", "Господь", а с молчанием или знаком молчания перед непостижимым. Судзуки в своей статье "Мистицизм христианский и буддийский" восхищался Экхартом. Католическим богословам XIV века Экхарт показался еретиком, но современные католики смотрят на вещи иначе.

Многие мудрецы Упанишад еще до буддизма не решались назвать тайну священного каким-либо словом. Высшая точка в "Брихадараньяке" – повтор отрицаний: "Не это! Не это!" И в самом деле, в слове "Бог" есть нечто от примитивных культов, от богов грома, молнии и т.п., перед которыми дикари падали на колени, и хотя еврейские пророки по мере сил очистили это слово, возвысили его, бог до сих пор легко становится кумиром. Впрочем, как всякое слово и образ. Некоторые средневековые раввины задавались вопросом: не может ли сама тора стать кумиром? И они были правы. Для иконоборцев кумиром стала заповедь "Не сотвори себе кумира". Они не понимали, что икона, какой она сложилась после VII Вселенского собора, – это богословский текст, "умозрение в красках", по удачному выражению князя Трубецкого; это текст, внутренне сопротивляющийся кумиротворению, хотя, в конечном счете, решает наше восприятие. Всякая буква может убивать дух, и то, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом. Эти слова Павла и Силуана я много раз повторял.

Одно из противоядий кумиротворению, разделяющему людей друг от друга и от Бога, – это равновесие слова и молчания. Каждое занятие семинара имени Джона Мейна, на котором Далай Лама комментировал Евангелие, начиналось с молчаливой медитации. Многие участники медитации называли это молчаливым диалогом, диалогом любви – без тех препятствий, которые создают различия слов. Только потом Далай Лама читал Евангелие, комментировал его, а иногда сам задавал вопросы, на которые отвечал бенедиктинский богослов о. Лаврентий Фримен. Из этих вопросов ясно, что Далай Лама захвачен тем, что на Западе называли "аджорнаменто", осовремениванием языка веры, и искал поддержки в опыте католиков. Таким образом, диалог двух религий становился одновременно диалогом религии с современным умом, не способным путать мифы с фактами. Вот замечательный фрагмент:

"Д.Л.: Какой смысл для христиан имеет небо?"

О.Лаврентий: Небо – это переживание радости, мира и любви Бога до полноты человеческих

способностей.

Д.Л.: Так что нет необходимости ассоциировать его с физическим пространством?

О.Лаврентий: Нет. Только во сне.

Д.Л.: Подобным образом можно ли понять ад в терминах крайне негативного, помраченного состояния духа?

О.Лаврентий: Да, конечно.

Д.Л.: Так что мы не должны думать о небе и аде как о внешней среде?

О.Лаврентий: Нет. Ад был бы переживанием совершенной отделенности от Бога, что само по себе нереально. Оно иллюзорно, потому что ничего не может быть отделено от Бога. Однако если вы думаете, что вы отделены от Бога, то вы в аду.

Д.Л.: В Евангелии есть такое место. Иисус говорит: "Я не пришел судить... Слово, сказанное мной, будет судьей..." Я чувствую здесь большую близость к буддийской идее кармы. Нет автономного существа вовне, которое решает, что мы должны пережить и понять; вместо этого есть истина, содержащаяся в принципе причинности самой по себе. Если вы действуете этически дисциплинированно, будут желанные последствия; если вы действуете дурным и вредным образом, вы так же столкнетесь с последствием этого. Истина принципа причинности судит, не сущность или существо, которое издает приговоры. Как вы это истолкуете?

О.Лаврентий: Есть поэтическая метафора в Библии, в которой Бог наказывает человечество за его грехи. Но я думаю, что учение Иисуса выводит нас по ту сторону образа Бога, наказывающего нас, и заменяет его образом Бога, любящего безусловно. Грех остается, грех – это факт. Зло – это факт. Но наказание, ассоциирующееся с грехом, заложено в самом грехе. Однако вместо того, чтобы подчеркивать причинность, хотя это кажется логичным, я думаю, что христианин скорее станет подчеркивать свободную волю. У нас есть свободная воля в этих делах, по крайней мере до некоторой степени".

Это место можно пояснить другим:

Д.Л.: "Есть ли в христианском контексте верование, что каждый человек имеет свою судьбу, которая должна свершиться?"

О.Лаврентий: Да. Судьба каждого – разделить, в конечном счете, бытие Бога.

Д.Л.: А можно сказать, что при некоторых обстоятельствах личная судьба может измениться?

О.Лаврентий: Да, потому что личность свободна принять свою судьбу или свое "призвание" или нет. Есть взаимоотношение между судьбой и свободной волей" (цит. кн.: Dalai Lama. The good heart. L., 1997. P. 114, 92). Таким образом, судьба, рок, предопределение, карма рассматриваются вероятностно, как весьма большая вероятность, как очень сильный вектор, но всегда мыслится нечто вроде щели для прорыва свободной воли.

Этот общий принцип не устраняет различий религий. Далай Лама несколько раз повторял тибетскую поговорку: нельзя приставлять голову яка к туловищу овцы. Но не следует делать и другого: превращать различия в антиномии. Антиномии – создание западного ума. В восточном уме их нет. И можно чему-то научиться от восточной философии. Вспомним еще раз, что христианство стало мировой религией, усвоив некоторые элементы платонизма. Не грех усвоить и кое-что от индийского и дальневосточного понимания противоречий.

На "круглом столе" о глобальном этосе дьякон Андрей Кураев опровергал меня, указывая, что христианство – это чистый свет без тьмы, а даосы говорят о гармонии света и тьмы. Возражение имело бы смысл, если бы физический свет и тьма вызывали бы одинаковые ассоциации во всех культурах. Между тем, в китайской культуре дело идет о гармонии инь и ян. Инь, по первоначальному значению иероглифа, – это влагище, ян – член детородный. На архаическую основу наложились ассоциации: текучее и твердое, воды и горы, наконец – тьма (не как зло, а как ночь, когда происходит зачатие) и свет (как день, когда человек рождается на свет). Такое противопоставление ночи и дня – без антагонизма – и в Библии можно найти, в Книге Иова. Вечная ночь заморозила бы поля, вечный день сжег бы их. Зло не в ночи и не в дне, не в тьме и свете, а в нарушении их гармонического чередования. Дао рождает инь и ян не как зло и добро, а как женское и мужское. Мужчина и женщина различны, но это различие – условие их любви. Мужчина и женщина принадлежат к одному роду (как инь и ян – к дао), и дао, путь, притягивает друг к другу инь и ян. В любви, создавая семью, женщина и мужчина образуют единство, не переставая быть самими собой. Именно в любви, в семье женщина полностью раскрывает себя, "становится женщиной". Я думаю, что до какой-то степени это относится и к мужчине. Мужчина, никогда не любивший, чувствует себя неполноценным. Всякую неполноценность можно компенсировать. Расслабленный Стилихон, передвигавшийся на носилках, был великим полководцем. Но естественный путь расцвета и мужского, и женского характера – любовь.

Бывают браки, в которых та или другая сторона господствует и подавляет. Точно так же бывают диалоги, где один говорит, а другой не находит слов для ответа, теряется или, наоборот, поддакивает. Однако в подлинном диалоге личность раскрывается. Мы узнаем Сократа по диалогам Платона. Страх некоторых церквей перед диалогом говорит об их убожестве, о боязни, нырнув в единство, не вынырнуть из него, раствориться, распасться. Золото, даже брошенное в серную кислоту, останется золотом.

В индийской культуре нет китайского стремления к наглядной образности иероглифа, к чувственной ощутимости символа, но есть другой способ понимания единства различий: в созерцании недвойственности. Большинство философских школ относит двойственность к поверхности бытия, а глубинное мыслит как недвойственное. Индийский ум не поработан логикой. Нагарджуна показал, что всякое логическое предложение ложно по отношению к Целому. Логика раскалывает целостность на субъект, предикат и связку, то есть с самого начала сводит дело к отношению кусков, дробит целое и не может его восстановить. Через две тысячи лет молодой Людвиг Витгенштейн, призванный в армию и не слишком отягощенный своими обязанностями офицера, написал в своем "Логико-философском трактате": "Мистики правы, но их правота не может быть высказана, – она противоречит грамматике". В этой фразе "мистика" – это именно созерцание целого, недвойственного; и немудрено, что Витгенштейн, записанный в классики логического позитивизма, впоследствии искал подступ к целому в дзэнских парадоксах.

Различия становятся непреодолимыми только в логически организованной речи. Они снимаются в абсурдных высказываниях (и абсурдных поступках юродивого), в поэтической речи и в молчании. Мысль о том, что Бога можно почтить только в молчании, восходит к Григорию Нисскому. Она никогда не умирала в Византии и одно время, при Ниле Сорском, укоренилась и в русских заволжских скитах. Любящие не раз открывали что-то подобное: если спор заходит в тупик, надо замолчать и подумать: наша любовь больше того, о чем мы спорим. Так могут прийти к согласию и религии, вероисповедания, секты: замолчать всем своим существом обратиться к непостижимому. Выполнив эту первую из наибольших заповедей, они легко выполняют и вторую (о любви к ближнему). И тогда – в великом молчании – над землей раскроется единое небо, и солидарность религий вдохновит практику глобальной солидарности.

К этому же ведет и поэтическое слово, родившееся из глубины святого безмолвия. Такое слово создает волны смыслов, волны ассоциаций, обходящих тупики логики. Поэтому есть ответ на

вопрос Ли Бо, обращенный к Лао-Цзы: "Если знающие не говорят, а говорящие не знают, то почему ты, который знал, написал трактат в три тысячи знаков?" Потому что этот трактат, "Даодецзин", поэтичен. Мысль изреченная есть ложь, но стихотворение Тютчева истинно. И поэзия может коснуться величайших глубин, не оскверняя их, если родилась из молчания и живет на краю молчания.

Мне хочется сказать, что на краю безмолвия живет и Спас, и Троица Рублева, и лучшие страницы музыки Баха. Они родились из смирения пред непостижимым, и само непостижимое водило руками мастеров. Это же можно сказать о дзэнга (живописи дзэн). Но текст легче иллюстрировать поэтическими примерами.

**Творящий Дух не знает сна.
У творчества свои законы.
Полна значенья тишина,
В которой веет Дух бессонный.
Адам не шевельнул рукой
И вовсе яблока не трогал,
Но он нарушил тот покой,
Где вызревают мысли Бога.
И делит род людской вину
За это древнее деянье
Тот, кто нарушил тишину,
Лишился внутреннего знанья.
И как бы мудрость ни росла,
Как ни растет земная сила,
Познания Добра и Зла
Она с тех пор уже лишилась,
И как в дурном бессрочном сне
Мы ищем смысла, смысл отринув,
Мы познаем Его извне,
Того, кто скрыт у нас в глубинах,
И делим с праотцем вину,
Ее от года к году множа,
Боимся кануть в тишину,
Где вызревает мысль Божья.**

**Не тот, кто говорит со мной,
Приносит мне благие вести,
А тот, кто словно дух лесной,
Как свет, молчит со мною вместе.
Кто, позванный на тайный пир,
Как чашу разопьет со мною
Молчанье, глубиною в мир,
Молчанье – с сердце глубиною.
Поэзия – не гордый взлет,
А лишь неловкое старанье,
Всегда неточный перевод
Того бездонного молчанья.**

**Есть степень затихания. Есть мера
Свободы духа от мирских забот,
Та глубина, где зародилась вера
И где богопознание живет.
И что таланты все, что первородство?
Ведь мы равно от Бога рождены.
И если есть на свете превосходство,
То только превосходство ТИШИНЫ...**

**Есть сила молчанья. Есть сила такая,
Пред коей все ветры земные смолкают.
Есть сила, воздвигшая все мирозданье.
Могущество Божье есть мощь умолканья.
Конец разногласья. Окончились споры.
Молчание наше есть слово простора,
Есть слово-громада, есть слово-лавина,
Есть слово, собравшее мир воедино,
То слово великого Божьего лада,
Которому слов наших drobных не надо**

1 Число крестьянских дворов было жестко фиксировано. Если хозяйство доставалось сыну, он имел право только на одну жену. Если дочери, она могла взять трех мужей, но от этого ее плодovitость не увеличивалась. Лишние рты шли в монастырь. Крестьяне снабжали их пищей.

2 Где добро помещалось сверху и справа, а зло – внизу и слева. Мы и сейчас говорим: правое дело, левый заработок, высокие помыслы, низкий поступок.

3 В немецком языке "культура" – духовное целое, а "цивилизация" совокупность технических удобств и приемов. В английском и французском языках этих различий нет. "Культурный круг" французы переводят как "ареал цивилизации".

4 Здесь и далее стихи Зинаиды Миркиной.